

Оглавление

ВЕЛИКАЯ ЭФЕМЕРНАЯ ПЛЕНКА

- Открывая либидинальную поверхность · 11
- Языческая театрика · 19
- Круговращение черты · 29
- Двусмысленность знаков · 36
- Дедукция объемного тела · 43
- Двусмысленность двух принципов влечения · 50
- Лабиринт, крик · 61

ТЕНЗОР

- Семиотический знак · 79
- Соккрытие · 90
- Интенсивность, имя · 98
- «Пользуйся мною» · 107
- Симулякр и фантазм · 117
- Синтаксис как кожа · 132
- Неподценное · 143

ЖЕЛАНИЕ ЗА ИМЕНЕМ МАРКС

- Либидинальный Маркс · 163
- Не бывает подрывных областей · 177
- Любая политэкономия либидинальна · 186
- Любая политэкономия либидинальна (бис) · 196
- Не бывает примитивных обществ · 208
- Неорганическое тело · 217
- Эдварда и малышка Маркс · 231
- Сила · 244
- Тавтология · 254

КОММЕРЦИЯ

- Никомахова эротика · 267
- Похвальное слово лидийцам · 284
- Учрежденная проституция · 295
- Плата как увертка · 308
- Война за серебро, валюту смерти: меркантильная политика · 319

КАПИТАЛ

- Coitus reservatus · 341
- Нуль заимообращения · 356
- Нигилистическая теория кредитного нуля · 364
- Использование кредитных денег для воспроизводства · 376
- Использование кредитных денег для спекуляции: год 1921 · 382
- Использование кредитных денег для спекуляции: год 1929 · 393

ЭКОНОМИКА ВСЕГО ВЫШЕНАПИСАННОГО

- Экономика фигуративного и абстрактного · 407
- Теоретическое как либидинальное · 415
- Тела, тексты: проводники · 429

ПРИЛОЖЕНИЕ

- Лиотар о «Либидинальной экономике» · 445
- От переводчика · 457

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН · 461

Кто не умеет таить,
не умеет любить.

Великая
эфемерная
пленка



Открывая либидинальную поверхность

ОТКРОЙТЕ так называемое тело и разверните все его поверхности: не только кожу с каждой из ее складок, морщин, рубцов, с обширными бархатистыми плоскостями и примыкающими покровами, копною волос, нежным мехом лобка, с сосками, ногтями, прозрачными ороговениями на пятке, с легкой ветошкой отороченных ресницами век, но откройте и выпростайте, разложите же без утайки большие губы и малые, с их подернутой слизью синеватой сетчатостью, растяните диафрагму анального сфинктера, разрежьте вдоль и распластайте сначала черный канал прямой кишки, потом ободочной, потом слепой, теперь самую настоящую ленту, сплошь в бороздках, замаранную калом, словно вспарывая портняжными ножницами штанину старых брюк, давайте же, выведите на свет мнимую внутренность тонкой кишки, тощую кишку, подвздошную, двенадцатиперстную, ну а на противоположном конце надрежьте в уголках рот, вытащите наружу язык вплоть до самого корня и рассеките его, расправьте крылья летучей мыши нёба и его влажных подполий, вскройте трахею и воспользуйтесь ее членением, как остовом корабля на стапеле; вооружившись тончайшими скальпелями и пинцетами, разберите на части и разложите пучки и телá головного мозга; а затем, плашмя, на огромном лабораторном столе, всю нетронутую кровеносную систему, и лимфатическую сеть, и тонкие хрящики запястий, лоды-

жек, выньте их и расположите впритык к тем слоям нервных тканей, что окружают водянистую влагу глаза, и к пещеристому телу члена, извлеките и крупные мышцы, большие спинные филе, растяните их, как лоснящихся спящих дельфинов. Сделайте то, что вершит солнце, когда в нем омывается ваше тело, или трава.

И это не все, куда там: нужно, чтобы к губам этим подключился и второй рот, и третий, множество других ртов, одна, другая, уйма вульв, уйма сосков. И, льнущие к коже на кончиках пальцев, поцарапанные ногтями, нужны, может статься, просторные пляжи шелковистой кожи с испода ляжек, под затылком, а может — гитарные струны. В ладонь же, в прожилках, скукоженную, как жухлый лист, нужно, чего доброго, вложить горсть горшечной глины, или убранный серебром приклад из твердого дерева, или автомобильный руль, или шкот швербота. Не забудьте добавить к языку и прочим частям голосового аппарата звуки, которые он способен издать, а с ними и ту селективную звуковую сеть, какую является всякая фонологическая система, ибо все это тоже принадлежит либидинальному «телу», как и цветá, которые вам нужно будет приложить к сетчаткам, как какие-нибудь мушки и оспинки на коже, как какие-нибудь избранные носовыми раковинами запахи, как излюбленные слова и синтаксисы ртов, что их произносят, и рук, что их пишут. Недостаточно, как мы видим, заявить вслед за Беллмером, что сгиб подмышки у девочки, в задумчивости облокотившейся о стол, подперев рукой подбородок, может *сойти за* складку паха или даже за смычку половых губ. Не будем спешить с вопросом касательно «сойти-за» и тем паче с ответом на него. Для *начала* нужно принять во внимание отнюдь не часть тела — какого тела? тела органического, организованного ради выживания наперекор тому, что мятет его к смерти, застрахованного от мятежа и смятения, — не часть, которая

норовит *заменить* какую-то другую, как, в случае этой девочки, полнота предплечья норовит заменить полноту ляжки, а совсем легкая складка — куда более влагабельную щель, отнюдь не это смещение частей, признаваемых *политической экономией* органического тела (в свою очередь изначально составленного из дифференцированных и подогнанных друг к другу частей, каковые без него не действуют). Такое смещение, чья функция — представление, компенсация, предполагает телесное единство, в которое оно вписывается как нарушение. Начинать надо не с нарушения, нужно сразу же идти до конца жестокости, препарировать полиморфную перверсию, развернуть, в противоположность сложению членов в тело, необъятную сочлененность мембраны «тела» либидинального. Каковая состоит из самых что ни на есть разнородных текстур: костей, эпителиев, еще не исписанных страниц писчей бумаги, арий, которые всех потрясут, всяческой стали и стекла, люда, трав, еще не покрашенных холстов. Все эти зоны сращены в единую ленту без оборотной стороны, ленту Мёбиуса, интересную не своей замкнутостью, а своей односторонностью, мёбиусову кожу, не гладкую, а (возможно ли это топологически?) наоборот, сплошь покрытую шероховатостями, закоулками, складками, полостями, которые, при «первом» прохождении покажутся полостями, но при «втором» вполне могут обернуться буграми. Но никто не знает и не узнает, на каком «витке» вечного обращения находится. Нескончаемая лента с переменной геометрией (ибо ничто не заставляет выемку оставаться вогнутостью, тем паче, что на «втором» витке она обязательно станет выпуклостью, если, по крайней мере, сохранится) имеет не две, а только одну сторону и тем самым ни внешнего, ни внутреннего.

Посему тут заведомо нет никакого либидинального театра, никакой плотности, тут и там, приостанав-

ливаясь, ускользя, пробегают интенсивности, и их никак не заключить в объем зала/сцены. Театральность и представление — и их отнюдь не нужно воспринимать как либидинальную, *a fortiori** метафизическую данность — вытекают из определенной работы над лабиринтной и притом мёбиусовой лентой, из работы, которая отпечатывает особые складки и загибы, в результате чего и получается замкнутая сама по себе коробка, фильтрующая побуждения и допускающая, чтобы на сцене появлялись только те из них, что, явившись из впрямь называемого *внешним*, удовлетворяют условиям внутреннего. Камера представления — это энергетический механизм. Описать его и проследить, как он функционирует, — вот что надлежит сделать. Нет нужды критиковать метафизику (или, что то же самое, политэкономия), поскольку критика предполагает и беспрерывно воссоздает все ту же театральность, надо, скорее уж, *быть внутри и об этом забыть*, такова установка влечения к смерти, скорее уж надо описать это, все сгибания и склеивания, все заражения энергией, размечающие на единой и неоднородной поверхности театральный куб с шестью его однотипными гранями. Идти от влечения к представлению, но не прибегая, чтобы описать это укоренение, этот переход нервных импульсов к оседлости, не прибегая к сомнительной легкости понятия нехватки, к легкости уловки пустой Инаковости, Нуля, столкнувшись с молчанием которого прерывается требование (требование — стало быть, уже речь? и уже адресованная, уже к чему-то? да, к этому Другому; и со стороны чего-то в свою очередь уже умеющего говорить? да, пусть даже говорят они жестами, слезами, исступлением или оцепенением пода-

* тем более (*лат.*) [здесь и далее звездочками или квадратными скобками вводятся примечания переводчика].

вившегося грудничка, междометиями), так что с этой уловкой с просьбой и молчанием Нуля, ну да, только и остается, что торжественно открыть и запустить театр и власть, театр власти, где разыграются исполнения желания, родившегося из этой самой пресловутой нехватки. Совсем, как будет видно далее, наоборот: нужно описать предприятие с кубом, отправляясь от ленты открытого либидинального тела, выставленного своей единственной, без изнанки, стороной, стороной, каковая ничего не скрывает.

Прежде всего, не нужно путать замыкание представления, сию саркастическую находку, сие мнимое снятие пелены с наших глаз мыслителями, когда они заявляют: пребывающее вне в действительности находится внутри, нет ничего внешнего, внеположное театру включено в то же время в него изнутри, — не надо смешивать эту грустную новость, это всего лишь обратное евангелию какангелие*, жалкое оповещение, что переносчики артефактов, проходящие за высокой стеной по-за спинами узников, прозябающих в оковах в глубине пещеры, увы, не существуют или, что в общем-то примерно то же самое, что и они в свою очередь — тени в пещере залитого солнцем мира, грустное удвоение; — итак, смотрите не спутайте это раздосадованное послание, это представление совершенно замкнутого театра с нашей мёбиусно-лабиринтной пленкой, односторонней лоскутной чересполосицей всех тех органов (неорганических и неорганизованных), через которые может пройти либидо: ибо ей не замкнуться на самое себя, как и настоящая лента Мёбиуса, она замкнута отнюдь не в смысле объема и, в отличие от куба представления, бесконечна, интенсивности пробегают здесь не встречая конца, никогда не натываясь на стену отсутствия, на предел,

* дурная весть (*греч.*).

ставший бы знаком нехватки, нет, у либидо на самом деле ни в чем нет недостатка, в частности, в областях для вложения: чем не подходящая область для вложений тонкий и очень-очень смуглый палец левой руки, коим молодая женщина, в беспокойстве, поскольку боится того, что считает вашими познаниями, проводит за разговором по брови, в то же время затягиваясь сигаретой, которую держит в правой руке; ради этого можно умереть, за это можно отдать всю свою органику, все свое, в полном порядке, тело, функциональную упорядоченность органов, саму память об органах, свое социопрофессиональное положение, свое так называемое прошлое и так называемое будущее, записную книжку и интимный театр; того и гляди, возникнет желание очень дорого, сверх всякой цены оплатить сей палец и все пространство — глазничное, черепное, вагинальное, — которое он, словно резец гравера, порождает вокруг глаза. И вложение осуществляется не потому, что это пространство запрещено, не потому, что оно представлено по ту сторону сценической рамки, и не потому, что у тебя нет права на сцену подняться, — потому, что ты хочешь туда подняться и *этим завладеть!* У либидо нет недостатка в областях для вложения, и вкладывается оно отнюдь не на условиях нехватки и присвоения — вкладывается безоговорочно, безусловно. Условие — это правило и знание. Но какое имеет значение, что переход эмоции на приглаживающую бровь руку подчиняется правилам, законам эмоций и прочим нелепицам; какое имеет значение, что ты знаешь, что именно вызывает робость, которую она, эта женщина, испытывает перед твоей предполагаемой (отеческой, очевидно...) особой; какое все это имеет значение, вся эта мишура слов, так и норовящих объяснить и объясниться. Именно они, эти слова, претворяют ее жест в представление и производят его во внутреннем

любому дискурсу внешнем, а закон, который они готовы изобрести, чтобы *объяснить* внешнее и сей спектакль, для них это закон, поскольку это закон знания.

Вместо того чтобы принять великий Нуль в качестве навязанного желанию онтологического мотива, чтобы постоянно все откладывать, представлять и симулировать в не имеющем конца переносе, мы, либидинальные экономисты, утверждаем: сей нуль сам является фигурой, фрагментом могущественного механизма, кровожадного, как Бог иудеев, и бледного, как Пустота Лао-цзы, механизма заимообращения, в коем, конечно же, одновременно утверждается несколько либидинальных установок, которые мы, забавы ради, аккуратно распутываем и разбираем, без столкновений, на японский лад, высвобождаем, как в игре в бирюльки*, — и готовы показать, что не только не обязательно ему подчиняться, дабы следовать за пробегающими по лабиринту интенсивностями, но, более того, что само прохождение через нуль есть особый либидинальный пробег, что в механизме заимообращения чревато наслаждением само положение Означающего или Другого, что кой у кого встает от «строгости закона» и что с этим Ничто мы имеем дело не с онтологической необходимостью, а с религиозной, следовательно либидинальной фантазией, вполне, впрочем, как таковая, скажем, приемлемой, не будь она, увы, террористической и деонтической. Нам надлежит смоделировать утвердительную идею Нуля.

Итак, мы возобновляем критику религии, продолжаем, стало быть, разрушать благочестие, вновь взыскуем атеизма; чертовски сообразительные, мы поняли, что повторно ввести в экономику желания Нуль, то есть негатив, значит просто-напросто повторить включение в либидинальные материи бухгалте-

* подразумевается популярная игра «микадо».

рии, значит перенести в сферу страстей политэкономии, а то и капитал, а за этой экономикой капитала, опять же по необходимости, поняли мы, готово восследовать благочестие, исполненный влечений и страстей механизм религиозности, насколько последняя опознается как *сила нехватки*, механизм религиозности капиталистической — религиозности денег, порождающих сами себя, *causa sui**. И, стало быть, мы «занимаемся политикой», мы хотим, чтобы сила нехватки захирела, выродилась, мы хотим и желаем всего, что утверждает, что этот нуль не только не порождает сам себя и не порожден какой-то иной силой (рабочей силой, полагает Маркс, но как раз из-за своей нехватки стертой «на поверхности», на социальной сцене), но и более того, вопросы порождения влекут в ловушку, несут в себе знание и его «ответы» на них, ответы, которые смеются над вами прямо в лицо, — нет, наша антирелигиозная, то есть антикапиталистическая политика не зависит от того, знаем ли мы, что в действительности является источником смысла, то есть прибавочной стоимости, как и от того, знаем ли мы, что в действительности нет никакого источника, что его не хватает не в качестве того-то или того-то, а как источника, мы хотим и вершим некую расчлененную политику, безответственную, политику для политиков *кошунственную*, и именно в этом смысле возобновляемая нами *критика* религии — уже вовсе не критика, уже не принадлежит *сфере* (то есть, заметьте-ка, театральному объему) того, что она критикует, — поскольку критика в свою очередь покоится на силе нехватки, и именно в этом смысле *критика остается религией*.

* причина самое себя (лат.).

Языческая театрика

ОТ ЛИБИДИНАЛЬНОЙ ленты мы желаем атеизма, и, если он не может быть критическим, то есть религиозным, нужно, чтобы он был языческим, то есть утвердительным. Нам, таким образом, нужно перескочить через две границы, не только через ту, что отделяет политику от а-политичности, но вдобавок и через ту, что отделяет религиозное от светского; нам нужно, например, сказать, что в религии поздней Римской империи, которую поносил и язвил Августин, возможно, присутствует куда больше атеизма (утвердительного), — в той религии, в которой для малейшей икоты, ничтожного скандала, для распоследнего совокупления, родов, мочеиспускания, военного приказа, имелся свой бог, своя богиня, несколько богов и богинь, *способствующих* действию, пациенсу и агенсу, не просто дублируя их в бесполезном спектакле, во что делает вид, что верит Августин, и тем более не избавляя от ответственности предположительно вовлеченного в означенное действие субъекта, но с тем, чтобы все эти жесты, все эти ситуации, относящиеся к, как (с тех пор) говорится, повседневной (но бывает ли другая?) жизни, с одной стороны, начинали цениться как интенсивности, не опускаясь до «полезностей», а с другой — не могли посредством некоей парадоксальной, диалектической, произвольной, террористической связи отойти к какому-то отсутствующему Закону или Смыслу, а, напротив, в своем утверждении единичности непременно начинали

восприниматься как самодостаточные. Как раз этим самоутверждением и было *божественное*. Возможно, нет ничего более близкого к тому, что происходит на либидинальной ленте, чем пародия, которую «театральная теология» извлекает из полускептической-полустоической народной религии позднего Рима. Она, во всяком случае, даже если мы несправедливы к ее выгоде, куда атеистичнее, нежели дискурс науки, политики и критики наших современных освободителей — освободителей желаний, женщин, гомосексуалистов, детей, негров, индейцев, пространств и пролетариев, — освободителей, которых мы любим и к числу которых, впрочем, принадлежим *и сами*.

Вовсе не противостояние между похвалой божественному в мире и восхвалением Бога за счет мира и *in absentia**, а различие между двумя механизмами пафоса разграничивает театральную теологию и теологию иудеохристианскую, каковая и по сей день направляет критику религии и политэкономии. Здесь пора обратиться к Клоссовскому. Послушаем, по его совету, как Августин обсуждает проводимое Варроном размежевание между баснословной или мифической теологией и теологией гражданской или политической. Наш христианин приводит в пример первую брачную ночь: «Но пусть богиня Виргиниенсия присутствует затем, чтобы развязан был у новобрачной девственный пояс; пусть бог Субиг — чтобы она подчинилась мужу; богиня Према — чтобы, подчинившись, сохраняла покорное положение: что делает там богиня Пертунда? Да будет ей стыдно: пусть идет она вон. Должен же сделать что-нибудь и сам муж! В высшей степени позорно, если роль, от которой она имеет свое имя, исполняется кем-либо другим, кроме мужа. Но, быть может, присутствие ее тер-

* заочно (лат.).

пимо потому, что она богиня, а не бог (...) Но зачем я говорю это, когда там находится и Приап, самец-урод, на громаднейший и отвратительнейший фаллос которого, по весьма почетному и благочестивому обычаю матрон, советуется сесть новобрачной? Пусть прилагают еще новые усилия и с какой угодно тонкостью отличают гражданскую теологию от баснословной, города от театров, храмы от сцен, священнодействия понтификов от стихов поэтов, как вещи почетные от гнусных, истинные от ложных, важные от пустых, серьезные от шуточных, такие, к которым надлежит стремиться, от таких, которые должны быть отвергнуты» (*О граде Божьем*, VI, 9).

И благочестивый Августин ничтоже сумняшеся выдвигает следующее соображение: если Варрон выставляет все таким образом, что соответствующие представления божественного на театральной сцене и на сцене социальной в конечном счете неотличимы, то дело тут в том, что в сем язычнике уже живет убежденность: верна единственно естественная теология, теология философов (подразумевается — Платона), и, следовательно, теология Августина (подразумевается — Христа). Все симуляции, будь то гистрионов или жрецов, скопом сметаются в одну сторону, в сторону лживого, иллюзорного, нечистого; новый рубеж готов отделить все это, сиречь видимость, от существенного, которое является чистым и достоверным. Что же таким образом проделывает Августин? Он полагает, что поставил крест на театре, — на самом деле он его изобретает, переизобретает после Платона и всех остальных, восстанавливает то, что уничтожили приверженцы Субига, Премы и Пертунды, то есть обесценивание всякого здесь и теперь, его подчинение Другому, он реформирует громоздкую театральность и повторяет расклад, согласно которому зрительный зал игнорируется в пользу сцены, а сцена посвящается представ-

лению оставленного за дверями театра, раз и навсегда соченного не театральным Внеположного.

Между тем варроновская народная театрика ни в коей мере не предполагала в своей сценографии подобного распределения функций. Если молодой супруг подстрекает Виргиниенсию развязать пояс юной женщины, которую он собирается лишит девства, неужели за этим можно усмотреть непристойность, шутовство и лживость? Разве не очевидно, что под именем Виргиниенсия выступают и нетерпение *vir desiderans**, и не менее выведенное из себя, но более изумленное ожидание *virgo****, и развязывание распускаемого пояса, и, поверх него, обустройство другого узла, готового завязаться между руками, плечами, животами, бедрами, между *introitus* и *exitus****? Виргиниенсия — это крик, испускаемый всем этим сразу, крик, складывающийся из нескольких невозможных криков: пусть она откроется, пусть он возьмет меня, пусть она сопротивляется, пусть он нажмет, пусть она разожмется, пусть он начнет и пусть остановится, пусть она подчиняется и командует, пусть это будет возможно и как бы невозможно, мольба и приказ, о, что может быть могущественнее, делай то, чего желает желание, будь его рабом, включайся, я дам тебе имя.

И для каждого подключения — божественное имя, для каждого крика, интенсивности и подключения, доставляемых жданными и неожиданными случаями, — мелкий бог или богиня, мелкое божество, которое, кажется, если смотреть на него печально выпученными платонико-христианскими глазами, ничему не служит, которое действительно ничему так не *служит*, но является именем эмоционального пе-

* жаждущего мужа (лат.).

** девы (лат.).

*** проникновением и извлечением (лат.).

рехода. Тем самым в любых обстоятельствах есть место божеству, в любом подключении — половодью аффектов. Но Августин, перейдя в лагерь великого Нуля, во всем этом уже ничего не смыслит, он хочет смирения и призывает к нему, оставьте либидинальную ленту, говорит он, только одно заслуживает аффекта, это мой, только мой Ноль, мой Другой, именно через него к вам приходят все ваши эмоции, вы обязаны ими ему, давайте же, сохраните их за ним, верните их ему, он их у вас, искупитель, выкупит. И чего же хочет наш христианин? Пренебрежения подключением и чуть ли не отключения: *ближний*, что за чудное слово! Другой помещен в атмосферу аффективного отдаления, потом возвращен как можно ближе своеобразным и парадоксальным усилием, называемым *caritas**, потому что оно дорого стоит (мы даем без возврата, раздаем расстояния удаления, собирает же данности и извлекает из них прибыль Ноль). С этим отключением не остается единичностей. У *caritas* есть ответ на все. Вот почему все оказывается обесцененным, расщепленным на свою видимость, ставшую древним богом, Виргиниенсией, Приапом, шутом, и на свою сущность, нового бога, центральный Ноль, постановщика сцены.

По видимости бред или безумие, по сути же божественные намерения. Послушайте отца Церкви, который пытается расщепить интенсивности: «По их мнению, Либер назван так от освобождения (*liberamentum*), потому что по его милости мужчины освобождаются от семени, когда выпускают его при совокуплении (...) Либеру, сверх того, предлагают и женщин, и вино для возбуждения похоти. Поэтому вакханалии отправля-

* уважение, почёт, любовь, привязанность (и ее предмет), но также и дороговизна, высокая цена/ недостаток, скудость (лат.).

ются с величайшим безумием. Сам Варрон сознается, что подобные вещи могли твориться совершающими вакханалии не иначе, как при умственном исступлении, *nisi mente commota* (...) Таких вещей не делали и в театре. Там играют, но не безумствуют; хотя, впрочем, считать богами тех, которые услаждаются театральными играми, достойно безумия, *simile furoris*». Вот как милейший Отец (*O grade Божьем*, VI, 9) предуготовляет общее заточение видимостей под именем симптомов. Обесценивание данности функционирует сполна, то есть впустую: движение сил становится потрясением рассудка, а вскоре и *dementia* и *amentia**. Язычники называли его Дионисом и Вакхом, именами не подлежащих оценке единичностей. И отметьте паралогизм Августина, запинаящуюся манеру все же оказать честь силе *их* театрики: вакханки были объаты неистовством; этого не видно в театре, где *всего лишь играют*; хотя театральные игрища таковы, что могут понравиться только богам, в свою очередь охваченным *furor***.

Непосредственное и вполне языческое следствие: *furor* божественен, божественное есть *furor*; как в священных ритуалах, так и в сценических играх нет ничего, что не включалось бы под особым именем в траекторию побуждений, как нет и ничего, что осталось бы подобной траекторией не охваченным. Здесь мы ловим Августина на том, что он, дабы произвести объем и камеру присутствия/отсутствия, загибает либидинальную ленту на самое себя. Для окончательного расчета понадобится, чтобы интенсивности были профильтрованы и занесены в актив великого Нуля. И мы видим, что это ему не удастся, не удастся установить разницу между игрой и неистовством, симулякр и истиной, шутством и серьезностью.

* помешательством и сумасшествием (лат.).

** неистовство, безумие (лат.).

Конец ознакомительного фрагмента.
Приобрести книгу можно
в интернет-магазине
«Электронный универс»
e-Univers.ru